



А. Д. ГРАДОВСКИЙ

Мечты и действительность (По поводу речи Ф. М. Достоевского)

Самым крупным событием на пушкинском празднике, по общему отзыву, была речь Ф. М. Достоевского. Она затмила все, произнесенное другими ораторами в честь величайшего нашего поэта. Она надолго останется в памяти не только тех, кто ее слышал, но и тех, кто, не имея возможности присутствовать на празднике, прочел ее в печати. Такой успех речи знаменитого романиста вполне понятен: она заключает в себе и оценку Пушкина, как *народного* русского поэта, и исповедание веры самого г. Достоевского, выраженное с тою силою убеждения, которая подавляет, если и не всегда убеждает других. Каждый, кто слышал или читал г. Достоевского, знает как трудно не *подчиниться* ему в то время, как он говорит, или пока внимание читателя приковано к страницам его произведений. Только потом возникают в уме читателя или слушателя разные сомнения; только потом испытывает он чувство некоторой неудовлетворенности и желает еще порасспросить и разъяснить кое-что.

Позволяем себе представить здесь некоторые сомнения, овладевшие лично нами, в надежде, что ни читатели, ни сам г. Достоевский не заподозрят в нас намерения нанести какой-нибудь «ущерб» достоинству речи. Но вопрос, затронутый оратором, имеет слишком большое общественное значение и нуждается в разностороннем его объяснении, не оставляющем места справедливым сомнениям.

Речь г. Достоевского содержит в себе, как уже сказано, две вещи: оценку Пушкина, как народного поэта, и некоторое исповедание веры самого оратора. Во всей речи чувствуется, что Пушкина комментирует именно автор «Братьев Карамазовых»,

и от этого зависит, по нашему мнению, недостаточное освещение пушкинских типов и довольно смутный вывод из речи.

Пушкинские типы освещены недостаточно; но из этого не следует, чтоб они были освещены *неверно*. Напротив: никому, быть может, не удалось проникнуть в суть пушкинской поэзии так глубоко, как Ф. М. Достоевскому. Но он не дал этим типам полного объяснения именно потому, что связал их не со всем последующим движением нашей литературы, а исключительно со своим мирозерцанием, представляющим много слабых сторон.

Объяснимся. Г. Достоевский обращается прежде всего к тому типу, в котором впервые выразилась вся мощь пушкинского гения, к типу Алеко. Вот что он говорит по этому поводу:

«В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного *скитальца* в родной земле, того *исторического* русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в *оторванном* от народа обществе нашем... Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся».

Это совершенно верно, и нельзя не признать большой заслуги г. Достоевского в том, что он установил историческую связь между типом, созданным впервые Пушкиным в Алеко, и теми типами «скитальцев», которые так художественно были выведены авторами «Кто виноват», «Рудина»¹ и друг. Но остается объяснить, откуда взялись эти «скитальцы», эти мученики, оторванные от народа?

Г. Достоевский мало останавливается на этом вопросе, хотя важность его явствует из следующих слов оратора: «человек этот зародился как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем *интеллигентном* обществе, оторванном от народа, от народной силы». Итак, «скитальцы» суть ярые представители некоторой общей болезни. Они сознали ее; они «забеспокоились», по выражению оратора, в то время, как другие сидели и сидят еще спокойно, занимаясь службою, разными предприятиями и, даже, наукой — «и все это регулярно, лениво и мирно». Но очередь дойдет и до них.

«Всех, — говорит г. Достоевский, — в свое время то же самое ожидает, *если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом*. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь избранных, довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя».

Вопрос, стало быть, не в избранных «страдальцах», а *во всей русской интеллигенции*. Ее нужно спасти от грозящей ей беды и беды большой. Но, прежде всего, посмотрим, в чем же беда.

Корень беды, говорят нам, в *отчуждении* от народа. Что же произвело это отчуждение?

Из слов г. Достоевского, что Алеки зародились во втором столетии после реформы Петра, можно бы заключить, что вина отчуждения в этой реформе, втолкнувшей высшие классы в формы западно-европейского просвещения. Но оратор, очевидно, был далек от такого банального объяснения, потому что он же видит славу Пушкина именно в его «всемирной отзывчивости». При том, если б г. Достоевский и принял такое объяснение (что было бы несоответственно его уму и таланту), оно все-таки ничего не объяснило бы и не принесло бы никакой практической пользы.

Так или иначе, но уже два столетия мы находимся под влиянием европейского просвещения, действующего на нас чрезвычайно сильно, благодаря «всемирной отзывчивости» русского человека, признанной г. Достоевским за нашу национальную черту. Уйти от этого просвещения нам некуда, да и незачем. Это факт, против которого нам ничего нельзя сделать, по той простой причине, что всякий русский человек, пожелавший сделаться просвещенным, *непрерывно* получит это просвещение из западно-европейского источника, за полнейшим отсутствием источников русских. Затем, предусматривая даже сильное развитие русской науки, русского искусства и т. д., мы должны будем признать, что все эти вещи вырастут на почве западно-европейского просвещения, подобно тому, как последнее выросло на почве греко-римской культуры. Таким образом, практически вопрос об «отчуждении» русской интеллигенции от народа ставится следующим образом:

Отчего просвещенная часть русского общества относилась *отрицательно* к явлениям русской жизни и, поэтому, вырабатывала из себя отрицательные же типы «скитальцев»? Это положение чрезвычайно трагическое и требующее выхода, потому что «забеспокоившихся», по выражению г. Достоевского, было довольно, и они не давали покоя всем другим. Г. Достоевский заговорил об этих типах, основываясь на поэзии Пушкина. Но Пушкин, выводя Алеко и Онегина с их отрицанием, не показал, что именно «отрицали» они, и было бы в высшей степени рискованно утверждать, что они отрицали именно «народную правду», коренные начала русского мирозерцания. Этого не видно нигде.

Но, действительно, мир тогдашних скитальцев был миром, отрицавшим другой мир. Для объяснения этих типов необходимы другие типы, которых Пушкин не воспроизвел, хотя и обращался к ним по временам со жгучим негодованием. Природа его таланта мешала ему спуститься в этот мрак и возвести в «перл создания» сов, сычей и летучих мышей, наполнявших подвальные этажи русского жилища. Это сделал Гоголь — великая обратная сторона Пушкина. Он поведал миру, отчего бежал к цыганам Алеко, отчего скучал Онегин, отчего народились на свете «лишние люди», увековеченные Тургеневым. Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановские, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины³ — вот теневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многих иных. Это фон, без которого непонятны фигуры последних. А ведь эти гоголевские герои были русскими — ух, какими русскими людьми! У Коробочки не было мировой скорби, Сквозник-Дмухановский превосходно умел объясняться с купцами, Собакевич насквозь видел своих крестьян, и они насквозь видели его. Конечно, Алеки и Рудины всего этого вполне не видели и не понимали; они просто бежали, куда кто мог: Алеко к цыганам, Рудин в Париж, умирать за дело, для него совершенно постороннее.

Итак, нам представляется, прежде всего, недоказанными что «скитальцы» отрешались от самого существа русского народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящего времени нисколько не определены пределы их отрицания, не указан его объект, так сказать. А пока не определено это, мы не вправе произнести о них окончательное суждение.

Тем менее в праве мы определять их, как «гордых» людей, и видеть источник их отчуждения в этом сатанинском грехе. Нельзя, конечно, отрицать в этих типах значительной доли гордости; мало того: нельзя не видеть в них и великой дозы себялюбия, выразившегося в таких трагических чертах в истории Алеко. Но и гордость, и себялюбие не были их первоначальными грехами, не были и первою причиною их «скитальчества», физического или духовного. Совершенно напротив: гордость и себялюбие явились *результатом* их отчуждения, долговременного отрицательного отношения ко всему окружающему, плодом их одиночества. Черты эти неприглядны — спора нет. По временам они отвратительны, и недаром Пушкин развенчивал своих героев. Но не в них суть болезни: они не симптомы, не придаток. Лечить симптомы и оставлять корень болезни едва ли рассудительно. Вот почему мы

не можем согласиться вполне с следующей моралью, выведенною г-м Достоевским из истории Алеко:

«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость; смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве — вот это решение по народной правде и народному разуму».

Что гордость и праздность суть пороки, это не подлежат сомнению. Но в данном случае, все-таки, остается нерешенным: гордость — относительно чего? праздность — почему? Пред чем «гордились» эти люди? Почему они не находили себе дела на «родной ниве»?

Не решен вопрос, пред чем гордились «скитальцы»; остается без ответа и другой — пред чем следует «смириться». Г. Достоевский останавливается на этих вопросах так, как будто бы вся суть дела в личных качествах «гордящихся» и нежелающих «смириться». Объясняя, что должен познать «гордящийся скиталец», он говорит ему:

«Не *вне* тебя правда, а в тебе самом, *найди себя в себе, подчини себя себе*, овладей собою, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего *в твоём собственном труде над собою*. Победишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь свое великое дело и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и *святую правду ею*. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостойн, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надо заплатить».

В этих строках г. Достоевский выразил «святая святых» своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора *Братьев Карамазовых*. В этих словах заключен великий *религиозный* идеал, мощная проповедь *личной* нравственности, но нет и намек на идеалы *общественные*.

Г. Достоевский призывает работать над собой и смирить себя. Личное совершенствование в духе христианской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой деятельности, большой или малой. Но из этого не следует, чтоб люди, лично совершенные в христианском смысле, непременно образовали совершенное общество. Позволим себе привести пример.

Апостол Павел поучал рабов и господ в их взаимных отношениях. И те и другие могли послушать и обыкновенно слушали слово

апостола; они *лично* были хорошими христианами, но *рабство* чрез то не освящалось и оставалось учреждением безнравственным. Точно так же, г. Достоевский, а равно и каждый из нас, знал превосходных христиан-помещиков и таковых же крестьян. Но *крепостное право* оставалось мерзостью пред Господом, и русский Царь-Освободитель явился выразителем требований не только *личной*, но и *общественной* нравственности, о которой в старое время не было надлежащих понятий, несмотря на то, что «хороших людей» было, может быть, не меньше, чем теперь.

Личная и общественная нравственность не одно и то же. Отсюда следует, что никакое *общественное* совершенствование не может быть достигнуто *только* чрез улучшение личных качеств людей, составляющих общество. Приведем опять пример. Предположим, что, начиная с 1800 года, ряд проповедников христианской любви и смирения принялся бы улучшать нравственность Коробочек и Собакевичей. Можно ли предположить, чтоб они достигли отмены крепостного права, чтоб не нужно было *властного* слова для устранения этого «явления»? Напротив, Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христианка и настоящая «мать» своих крестьян, и пребыла бы в этом убеждении, несмотря на все доводы проповедника. Пойдем дальше. Предположим, что в те времена проповедник подошел бы к скептическому и неверующему Алеко и наполнил бы его душу истинами христианства. Вышел ли бы из Алеко полезный общественный деятель? Едва ли. Вернее предположить вот что: Алеко-христианин не побежал бы к цыганам и не сделался бы мужем несчастной Земфиры. Он ушел бы в монастырь и обратился бы в старца Зосиму³. Форма «отчуждения» и скитальчества изменилась бы. Но много ли выиграло бы оттого общество?

Улучшение людей в смысле *общественном* не может быть произведено только работой «над собой» и «смирением себя». Работать над собой и смирять свои страсти можно и в пустыне и на необитаемом острове. Но, как существа *общественные*, люди развиваются и улучшаются в работе *друг подле друга, друг для друга и друг с другом*. Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства *общественных учреждений*, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести.

С этой именно точки зрения, причину «скитальчества» должно искать не в одних личных качествах «скитальцев», а в качествах

общественных учреждений прежнего времени. Было бы нелепо утверждать, что они погибали от своей «гордости» и не хотели смириться пред «народною правдой». Никто никогда не отрицал прекраснейших качеств русского человека. Скажем больше: если в душе лучших из этих «скитальцев» первой половины нашего столетия и сохранялся какой-нибудь помысел, то это именно был помысел о народе; самая жгучая из их ненавистей была обращена именно к рабству, тяготевшему над народом. Пусть они любили народ и ненавидели крепостное право по-своему, по-«европейски», что ли. Но кто же, как не они подготовили общество наше к упразднению крепостного права? Чем могли, и они послужили «родной ниве», сначала в качестве проповедников освобождения, а потом в качестве мировых посредников первой очереди. Значительная часть даже скитальцев не отрицала, что в глубине русского духа таится нечто величавое в нравственном смысле. Но позволительно сказать, что это «прекрасное» было прикрыто толстым слоем грязи, и что народная «правда» как-то странно выражалась в «кривосудии» отживших учреждений.

Теперь мы дошли до самого важного пункта в нашем разномыслии с г. Достоевским. Требуя смирения пред народною правдою, пред народными идеалами, он принимает эту «правду» и эти идеалы, как нечто готовое, незыблемое и вековечное. Мы позволим себе сказать ему — нет! *Общественные* идеалы нашего народа находятся еще в процессе *образования, развития*. Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа. Еще слишком много неправды, остатков векового рабства, засело в нем, чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г. Достоевский.

Странное дело! Человек, казнящий гордость в лице отдельных скитальцев, призывает к гордости целый народ, в котором он видит какого-то всемирного апостола. Одним он говорит: «смирись!» Другому говорить: «возвышайся!»

Послушаем, к чему г. Достоевский предназначает Россию:

«Впоследствии, я верю в это, мы, т. е., конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже *окончательно*, указать исход европейской тоске в своей русской душе, *всечеловечной и всесоединяющей*, вместить в него с братскою

любовью *всех* наших братьев, а, в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского *окончательного* согласия всех племен по христову евангельскому закону».

Словом, свершится то, чего не предсказывает и апокалипсис! Напротив, тот предвещает не «окончательное согласие», а окончательное «несогласие» с пришествием Антихриста. Зачем же приходиться Антихристу, если мы изречем слово «окончательной гармонии»?

А пока что, мы не можем справиться даже с такими несогласиями и противоречиями, с которыми Европа справилась давным-давно, долбим азбучные зады и выпускаем теперь из своей среды таких «апостолов», которые дают всю Европу именно *озлоблением* своим и дают странное понятие о «всепримиряющей» русской душе.

Правильнее было бы сказать и современным «скитальцам» и «народу» одинаково: *смиритесь* пред требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой вы, слава Богу, приобщились, благодаря реформе Петра. Впитайте в себя все, что произвели лучшие народы — учителя ваши. Тогда, переработав в себе всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумеете проявить и всю силу вашего *национального* гения, внести и свою долю в сокровищницу всечеловеческого. Ни один народ не получал всемирно-исторического значения, не возвысившись на степень народности, и каждая народность в свое время проходила чрез школу всечеловеческого, как прошли ее народы Европы в эпоху средних веков и возрождения!

А тут, не сделавшись как следует народностью, вдруг мечтать о всечеловеческой роли! Не рано ли? Г. Достоевский гордится тем, что мы чуть не два века служили Европе. Признаемся, это «служение» вызывает в нас не радостное чувство. Время ли венского конгресса и вообще эпохи конгрессов может быть предметом нашей «гордости»? То ли время, когда мы, служа Меттерниху⁴, подавляли национальное движение в Италии и Германии и косились даже на единоверных греков? И какую ненависть нажили мы в Европе именно за это «служение»!

Нет, затвердим и заметим раз навсегда, что истинно-всечеловеческое значение мы можем приобрести только после того, как мы разоведемся и укрепимся в качестве народности, умеющей и могущей делать *свое* общественное дело, как мы, восприняв свободно

начала общечеловеческой культуры, откроем пути и средства для нашего творчества, которое без того навсегда останется в виде зародыша, давая миру одних нелепых «самоучек», начиная от самоучек-механиков и кончая самоучками-«революционерами».

Тогда выступить в полном блеске «народная правда», на этот раз уже нескрытая и неспрятанная под семью замками, а сияющая, как солнце. Тогда не будет уже места и скитальцам, или, лучше сказать, им будет место за общим народным трудом. Тогда исчезнут и глупые мечты о «всемирном счастье» потому что каждый поймет, что отдельный человек может служить человечеству только *через* свой народ и что вне этого народа ему нигде нет места. Коротко говоря: нужно только смело и бодро идти по пути, открытому с 1861 года, когда устранена была главная причина нашего «скитальчества». То, что мы видим теперь, есть только *наследие* времен минувших и, мы верим в это, типы наших скитальцев не суть типы «постоянные». Они прейдут вместе с ростом русского общества и народа.

В заключение, мы просим Ф. М. Достоевского извинить нам выражения, которые он сочтет резкими, хотя мы и старались говорить с ним тем языком, какого он в праве требовать по своим достоинствам. Но живость тона показывает, что вопрос, возбужденный Ф. М. Достоевским, столь же близок нам, как и ему.

20-го июня 1880 г.

Вильна.

